

Е.П. Дубровин

Курортное приключение

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Е11

Е11 **Е.П. Дубровин**
Курортное приключение / Е.П. Дубровин – М.: Книга по Требованию, 2024. – 164 с.

ISBN 978-5-458-04087-7

«Курортное приключение» – повесть о тяжело больном человеке, сильном, но не сломленном ни болезнью, ни серией жизненных крахов. При всем драматизме сюжета в повести ясно обозначен главный «водораздел», по обе стороны которого оказываются те или иные герои повести: между рваческим, хищническим, с одной стороны, и бескорыстным, творческим отношением к жизни – с другой.

ISBN 978-5-458-04087-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024
© Е.П. Дубровин, 2024

Евгений Дубровин
Курортное приключение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПУТИ

1

Симферопольский пришел точно по расписанию. По дороге поезд попал в буран. На крышах вагонов лежали перины снега, таблички с маршрутом выглядели белыми заплатами на зеленом туловище состава. Из запорошенных окон вагонов, как из сказочных избушек, выглядывали сморщенные лица бабушек-колдуний, старичков-кощеев бессмертных и румяные, сияющие крымским солнцем лица иванушек и аленушек.

Мимо Холина бесшумно скользнуло длинное, облепленное снегом тело электровоза, и Холина обдало запахами горячего металла, масла и залитого водой угля, хотя угля, конечно, на электровозе никак не могло быть. И тотчас же, повинаясь этому запаху, из памяти высунулась, как на призыв фокусника, змеиная головка воспоминания. Николай Егорович поморщился, усилием воли загоняя головку назад, и поднял с перрона чемодан. Он не любил ездить поездом из-за этого запаха, из-за этого воспоминания. Хотя с тех пор прошло столько лет, появились электровозы, чудесные вагоны с пластиком, синими лампами под потолком, никелированными держателями для брюк, другими красивыми, не всегда понятными приспособлениями. Изменились и сами вокзалы: стали более приспособленными к пассажиру, которому не посчастливилось взять билет и которому предстоит скоротать длинную железнодорожную ночь. Но все же запах, сложный запах железной дороги, в котором все-таки, как это ни странно, преобладали испарения мокрого угля, остался. И Холин не любил ездить поездом именно из-за него.

Он любил летать самолетом. Особенно зимой, хотя зимой летать самолетом – всегда риск. Но, наверно, из-за этого риска Холин любил и зимние полеты.

Возбуждение от риска начиналось еще в городской кассе. Николай Егорович брал билет обычно за несколько дней, как только становилось хоть приблизительно известно, когда ему надо лететь. В зале пусто, все окошечки закрыты картонками мышиного цвета, работают лишь одно-два; возле них очередь из трех или четырех человек. Смех, а не очередь.

На шаги Холина, которые отдаются аж под самым потолком – почему-то во всех самолетных кассах высокие потолки, – очередь оборачивается, и по лицам Холин сразу определяет закоренелых клиентов «Аэрофлота». Из тех, кого не запугаешь ни распутицей, ни бураном. У них лица карточных игроков. В самолетной очереди не принято спрашивать, кто последний. Холин просто становится, достает бумажник, готовит деньги. Очередь движется неторопливо, никто не ругается, не спорит, не упрасивает, если билетов нет. Вопросы почему-то задают вполголоса, и вполголоса же кассир говорит число, номер рейса и каким транспортом добраться до аэропорта.

На такое-то, туда-то, говорит Холин спокойным голосом спокойной кассирше в наброшенной поверх формы вязаной домашней кофте, – летом упаси боже появиться в одежде кассира чему-либо домашнему. Брать на такое-то билет заранее при неустойчивой зимней погоде – безумие. И Николай Егорович прекрас-

но знает, что это безумие. И кассирша знает. И вся очередь знает.

– Можно? – спрашивает Холин без всякой тени страха, хотя это первый риск.

Кассирша поднимает на Холина глаза и несколько секунд смотрит на него. Холин выдерживает взгляд. Кассирша пожимает плечами, щелкает какой-то штучкой и говорит, слегка наклонившись в микрофон:

– Один на такое-то... рейс такой-то...

И опять быстро смотрит на Холина, и Холин чувствует, что она на его стороне и сама немного волнуется, выгорит дело или нет.

В микрофоне замешательство, потом голос произносит:

– Один на такое-то... рейс такой-то...

И опять Николай Егорович чувствует, что и этот нечеловеческий, механический голос тоже на его стороне, несмотря на то, что продавать за столько дней билет при неустойчивой зимней погоде хотя, может быть, и не противоречит правилам, но явное безумие.

– Такого-то... рейс такой-то... аэропорт такой-то, – говорит кассирша, протягивая билет, и еще раз, теперь уже вне всякой меры, пристально смотрит на Холина.

– Спасибо, – говорит Холин и чуточку медлит, надеясь, что она ответит «пожалуйста» и, может быть, даже улыбнется краешком губ, но кассирша уже занята другим, но все же в движении ее рук, берущих ножницы, во взгляде на следующего пассажира Холин чувствует последнее внимание к нему, Холину, отблески последних обрывков мыслей о нем, Холине. И это приятно.

В зале ожидания аэропорта зимой тоже мало народа и лица выглядят так, словно все знакомы. Может быть, и не знакомы, но все-таки как будто бы люди собрались для одного какого-то дела и все знают, что собрались для одного дела и что они в какой-то степени, пусть в маленькой, но сообщники. Такой вид бывает у людей, собравшихся у проходной большого завода рано утром ехать на уборку кукурузы или картошки. Они резко выделяются из всех не только тем, что многие из них в ватниках и бывших модных десяти-пятнадцать лет назад пальто, но и особым выражением лица. Хотя большинство из них друг с другом не знакомы, но у всех одно выражение лица. «Ага, – написано на лицах. – Вот вы идете, а мы едем на кукурузу. Вот затроньте из нас кого-нибудь одного, мы такого вам покажем!»

В зале легкий гул, у буфета очередь. Многие хорошо одетые с несчастным выражением лица пьют шампанское и закусывают импортными персиками из больших ярких банок. Стоит лишь глянуть на них, как сразу становится ясно, что их рейс отложен, и отложен не на какие-то час-два, а на целых пять-шесть часов, может быть, до самого утра.

Холин регистрирует билет и, стараясь не глядеть на табло, где сообщается, на какой рейс идет посадка, а какой рейс откладывается, направляется к киоску рассматривать сувениры. Сувениры одинаковые по всей стране: Останкинская башня, пластмассовые человечки.

Вдруг раздается шелест, как будто прилетела металлическая стрекоза. Холин знает, что это за шелест. С забывшимся сердцем он поднимает чемодан и подходит к табло. Спокойное до этого табло волнуется. Оно машет лепестками, стрекочет и, наконец, показывает:

«Рейс такой-то... туда-то задерживается по метеоусловиям»

На час.
На три.
До утра.

Это похоже на азартную игру. И толпа, которая стоит перед волнующимся табло, похожа на толпу игроков.

Удары судьбы игроки принимают мужественно. Для формы они, конечно, что-то бормочут, какие-то угрозы в адрес «Аэрофлота», но потом расходятся. Если на час, три – в буфет; если до утра – в ресторан.

«До утра» – самое серьезное. До утра – это полнейшая неопределенность. «На час» еще имеют в запасе «на два», «на три», наконец, «до утра». «Доутристы» же рискуют завтра начать все сначала.

Но зато с ними случаются разные приключения. Может, конечно, и не случится, но чаще все-таки случаются. Холину, например, один раз ночью, где-то между тремя и четырьмя часами ночи, объяснилась в любви женщина. Замужняя женщина. Мать троих детей. Причем муж несколько раз приходил ее успокаивать, а она плакала и объяснялась Николаю Егоровичу в любви. И дети тоже успокаивали и не знали, что такое приключилось с их матерью. А потом, когда объявили посадку на самолет этого семейства, она наотрез отказалась лететь, муж упрашивал, умолял, пытался, хоть был маленьким и тишедушным, даже тащить ее насильно, а она упиралась; потом, конечно, улетела.

Она говорила Холину:

– До встречи с вами я была счастлива. Я думала, что я счастлива. Я стирала, мыла, готовила и думала, что так и должно быть. У меня было трое детей, непьющий муж, и я думала – в этом счастье. Зачем вы мне встретились? Вы обрекли меня на вечную муку.

Она так и сказала: «На вечную муку». Конечно, она не будет вечно мучиться. Она так сказала, потому что была пьяна, иначе она бы это не сказала, но все-таки она это сказала.

Еще она сказала:

– Давайте проведем с вами вместе отпуск. В Ялте. Я приеду в июне в Ялту. Или в августе. Или в сентябре. Как вам будет удобно. Вы мне напишите. А если не напишете, я все равно буду ждать вас в Ялте у главного почтамта с восьми до девяти часов вечера. Каждый вечер. Каждый год.

Он сказал, что обязательно придет в июне в Ялту и каждый вечер будет приходить к главному почтамту между восемью и девятью часами вечера. Он даже дал клятву. Он дал клятву совершенно честно и искренне верил, что сдержит ее.

Конечно, Холин не поехал в июне в Ялту. И она тоже наверняка не поехала в июне в Ялту. Но он дал еще одну клятву, что не забудет этой встречи. И эту клятву сдержал. Конечно, не потому, что все время вдалбливал себе в голову: помни, помни, а потому, что такие встречи не забываются. Из-за таких встреч он и любил зимние полеты...

А произошло все так. Рейс отложили до утра, и Холин сидел в ресторане. Она привела своих детей поить чаем перед полетом. Ее самолет улетал в шесть утра, а рейс предстоял длительный – до Свердловска; она жила в Свердловске.

Как-то выяснилось, что у старшей дочери сегодня день рождения, и Холин предложил выпить за день рождения. Она долго отказывалась, но он пригрозил

ей, что у ее дочери не будет здоровья, и она выпила. Потом выпила еще несколько раз. От выпитого она покраснелась, и Николай Егорович сделал ей комплимент. И тогда она заплакала и стала рассказывать ему свою жизнь. Она сказала, что пьяна первый раз в жизни и не знала, что это так прекрасно. Еще она не знала, что прекрасно слушать комплименты. А ей скоро сорок, и еще ничего не было и, наверно, уже не будет. Только работа, муж, стирка, дети, опять работа, муж, стирка, дети, и так без конца и края. И она еще нигде не была, ничего не испытала и, наверно, уже нигде не будет и ничего не испытает.

Спустя два или три года он получил открытку под Новый год без подписи и обратного адреса. «Я так несчастна...» – было написано в открытке.

Он хранил открытку несколько дней, а потом порвал.

Конечно, бывали менее приятные приключения. Когда, например, летишь в один город, а прилетаешь в другой. Однажды в Домодедово он познакомился с очень симпатичным человеком, артистом миманса. Артист миманса возвращался из Италии; сам он был начинен впечатлениями, а его чемодан итальянскими винами. Они проговорили до утра. Утром очень тепло попрощались, дали слово не терять друг друга из виду, потом Холин залез в свой самолет и заснул. Проснулся во время посадки. Выходит и не узнает свой аэропорт. Не такой какой-то аэропорт. Поднял голову и видит – огромными буквами написано: «Владивосток». Оказывается, вместо своей «аннушки» он каким-то образом сел на реактивный и рванул из Европы в Азию.

Конечно, под влиянием итальянских вин...

* * *

Холин подошел к своему вагону. Толстая проводница в шинели возилась с фонарем, который то загорался, то гас. «Не могут уж посовременнее что-нибудь придумать. Как были двадцать лет фонари, так и остались, – опять плохо подумал Холин о железной дороге, предъявляя билет. – И проводник в такой же шинели...»

Поезд был почти пуст. Маршрут в Крым недавно ввели специально для отпускников, но только начинался март, и, конечно, мало кто стремился к холодному морю. В купе сидел лишь один человек – маленький, неопределенного возраста, сразу с двумя лысынами: передней и задней; из тех, что всю дорогу смотрят в окно. Николай Егорович поздоровался, поставил чемодан в ящик под полку – его место было внизу – и вышел на улицу; до отправления еще оставалось много времени: на их станции всегда поезда стояли долго.

Пал мелкий снег. Мороз был ощутимый, но не очень, чуть-чуть поменьше, и он стал бы приятным. По пустому перрону, высоболенному машинами с проволочными щетками, крутилась мелкая поземка. У поземки было все, как у настоящей: сугробы, лижущие языки, черные «окна», только все это выглядело настолько маленьким, словно Холин вдруг стал великаном и разглядывал поземку с высоты своего великаньего роста. Из открытой форточки станционного ресторана тянулась грустная мелодия. Как полная луна, неслась сквозь снега фара элеватора.

На перроне, кроме Холина, был лишь один человек: нервно прохаживалась худая девушка с убитым морозом букетиком белых цветов – она кого-то ждала. Они встретились, разминулись, опять встретились. Надо бы пошутить, подумал

Николай Егорович, но кроме идиотской, затасканной шуточки «Вы не меня встречаете?» ничего не пришло на ум, и он поплелся ко входу на вокзал. Дверь широко распахнулась, и Холин даже отшатнулся от неожиданности – прямо на него валила толпа их заводской братии с оттопыренными карманами.

Увидев Николая Егоровича, толпа возликовала.

– А мы тебя провожать! – загалдели вокруг неподдельно радостные голоса.

«Сегодня зарплата, – вспомнил, пожимая руки, Холин. – Неужели мои дела так уж плохи, если эта братия расчувствовалась?»

Пришел даже Лукашов. Но этот наверняка не расчувствовался, а явился по долгу службы. Лукашов – человек долга. В завкоме Лукашов отвечал за бытовой сектор и добросовестно присутствовал на всех свадьбах, перепоясанный свежесвыстиранным полотенцем, взятым из заводской столовой, а на похоронах неизменно пристраивался сзади к крышке гроба и хотя нести не нес по причине маленького роста, а даже еще больше отягощал конструкцию, но умел зычно и в то же время скорбно подавать команды, где остановиться, когда тронуться, и потому был незаменим.

«Ворон, – подумал Холин. – Прилетел...»

Между тем говорились обычные вещи.

– Место хорошее?

– Как устроился?

– Что говорят врачи?

– Ну ничего. Выглядишь ты молодцом.

– По радио слышал – там тепло.

– Еще купаться будешь.

Итак далее. Хотя думали, конечно, все о другом: когда наступит время тяпнуть. У всех были немного скорбные, но внутренне удовлетворенные рожи. Что ни говори, а идея удачная. Тяпнули после смены, тяпнут сейчас, потом пойдут добавят в «столовой № 1», а дома не придерешься. «Опять глаза залил? – закричит жена. – Иди туда, где был!» – «Товарища провожал» – «Какого еще товарища! Знаем мы этих товарищей! Небось с бабами хороводился!» – «У тебя вечно одни бабы на уме! – обидится хозяин дома. – Помнишь, тот самый... Так вот его...» – «А разве он жив еще?» – «На курорт его... Может, и не вернется... Может, и за упокой пили».

Пока жена будет думать на тему: «Вот был человек и нет человека», можно сказать: «А ведь молодой был, здоровый. Вот и я так вдруг...» Хозяин со скорбным видом достанет бутылку, открыто, ничуть не стеснясь, поставит ее на стол, даже стуком обратив внимание: дескать, вот я какой чуткий, какое у меня чувствительное сердце, не только на поезд посадил, а и дома решил помянуть.

И жена ничего не скажет, не заругается, не стукнет кулаком по нежной, размягченной выпивкой голове мужа, а сбегает в подвал, принесет огурчиков, капустки, нальет горячего борща, вытрет руки фартуком и сама подсядет к столу, к маленькому, семидесятипятиграммовому стаканчику, похожему на больничную мензурку, что рядом с граненым стаканом хозяина как младенец; и они выпьют за упокой его, Холина, души, и хозяйка долго будет махать возле рта ладонью, а потом выпьет еще половинку и заплачет; конечно, не о нем, Холине, которого она в жизни не видела, а так, вообще... обо всех и о себе в частности, о том, как

плохо, странно, противоестественно представить себя лежащей в гробу.

А муж, видя, что жена расчувствовалась, направляется к вешалке и начинает искать шапку, чтобы пойти и добавить, но он плохой стратег и тактик, он наивный политик, скверный знаток человеческих душ, и в особенности женских, наконец, он просто потерял бдительность. Бормоча слова о том, какой хороший человек был Холин, какой он был молодой, сильный, красивый, душевный, добрый, отзывчивый, толковый специалист и верный товарищ, как его, Холина, любили все и уважали, как у него, Холина, этот гад Лукашов отнял жену и сделал много других гадостей, хозяин дома притупил бдительность и не обращал внимание на действия своей верной половины.

А верная половина стояла сзади, непосредственно за его спиной, в старой, классической позе, подперев бока руками; глаза половины горели. Бдительные, огненные глаза были чисты и сухи, в них не имелось даже намек на слезы. Хозяин дома замечает опасность, пытается снова, хотя отлично понимает, что дело прогорело, разжалобить сердце супруги словами: «Хороший человек этот был Николай Егорович, душевный, сгорел на работе...», но шапка хозяина дома уже сама собой срывается с затылка и трепещет, как пойманная ворона, в руках жены, а на своем размягченном после полочки, нежном затылке хозяин ощущает чуждый, но любящий кулак.

Лукашов же, конечно, не будет добавлять. Не то что он, Лукашов, не любит выпить, нет, выпить он любит, но водка все-таки для него не удовольствие. Он пьет водку как лекарство, как приятное, но все же лекарство, он пьет ее, когда нужно: на похоронах, свадьбах, в компании, по какому-то еще поводу. Он ни разу не взял бутылку без повода, просто так, для себя, для своего удовольствия, по случаю, что у него хорошее настроение или плохое; у него, Лукашова, никогда не бывает хорошего или плохого настроения. У него всегда среднее настроение, как у электронно-вычислительной машины, компьютера; впрочем, никто не знает, какое у компьютера настроение, может быть, это очень злобная машина, а скорее всего все-таки у нее среднее настроение, а вернее, не среднее, а его нет вовсе; никакого настроения, как у Лукашова.

У Лукашова нет никакого настроения. Лучше, если бы у него было злобное настроение. Если бы у Лукашова было злобное настроение, он бы тогда делал людям гадости и его, Лукашова, легко было бы разоблачить, но он никогда не делает людям гадости. Он всегда поступает правильно, он всегда прав, как компьютер; он, как компьютер, никогда не ошибается. И напрасно все говорят, что он, Лукашов, отбил у него, Холина, невесту. Ничего он не отбивал. Просто он рассудил, что с ним, Лукашовым, ей, будущей жене Холина, будет лучше, чем с самим Холиным, потому что он, Лукашов, всегда все делает правильно, никогда не причинит ей боль, не оскорбит, не совершит несправедливости. Он, Лукашов, всегда все продумает, рассчитает и поступит по справедливости; из всех возможных ходов в данной ситуации он, Лукашов, сделает единственно правильный, самый рациональный, самый удовлетворяющий всех ход. Он, Лукашов, рассудил, что и ребенку, который потом появится, будет лучше с Лукашовым, чем с Холиным, потому что с Холиным ребенок будет жить в хаосе, рассудил Лукашов, в действительности, полной пугающих неожиданностей. Да и самому Холину, рассудил Лукашов, одному будет лучше, ибо от собственных неразумных поступков будет страдать лишь он сам, Холин.

Ты прав, Лукашов. Ты, как всегда, прав. Конечно, ты не будешь, как эти ребята, дополнительно, сверхпланово пить за упокой его, Холина, души. Эти ребята, конечно, выпивохи; не совсем, конечно, выпивохи, но все же, конечно, не пропустят случая выпить, а такой случай сегодня железно подвернулся – проводы Холина на курорт, откуда он, возможно, не вернется. Они бы выпили, конечно, и по другому, более радостному поводу, допустим, за выздоровление Холина, но все же Холин им благодарен за то, что они выпили за его проводы, выпьют сейчас и еще вечером, когда Холин уже будет мчаться на курорт, откуда он, возможно, не вернется.

А Лукашов не будет пить дополнительно. По дороге он наверняка зайдет в магазин «Молоко» и маленькими глотками опорожнит бутылку кефира, чтобы быстрее прошел хмель и чтобы отбить запах. Именно опорожнит, а не выпьет. А затем он зайдет в магазин «Лакомка» и купит кулек шоколадных конфет для своей жены, которую он отбил у Холина. И для дочери, которую он родил вместо Холина. И они все трое будут пить чай с шоколадными конфетами, и Лукашов скажет, где был, потому что он не может не сказать, он просто не умеет лгать, и жена, его, Холина, бывшая невеста, еще раз оценит по достоинству это такое редкое среди людей качество – не лгать.

Утром Лукашов скажет директору, что провожал Холина на поезд. И директор сначала не поверит, а потом тоже подумает: «Все-таки он честный во всем. Даже, несмотря на все, пошел провожать Холина...» Впрочем, Лукашов может и не сказать ничего директору, ибо провожал он Холина не для того, чтобы это стало известно директору или еще кому, а потому, что делал это по долгу. Ибо больного, едущего на курорт, положено провожать.

Если он, Холин, действительно не вернется из этой поездки, Лукашов будет нести крышку гроба, как всегда ее нес; будет нести, несмотря ни на что, несмотря даже на то, если он, Холин, напишет в завещании, чтобы Лукашову запретили нести крышку. Возможно, Лукашов даже заплачет на поминках, если будет подходящая обстановка и если еще кто-то будет плакать.

Нет, он, Холин, ни в чем не может упрекнуть Лукашова. Даже в том, в чем он сейчас его упрекал. Упрекал несправедливо, подло, подтасовывая факты. Лукашов никогда бы не увел чужую жену, потому что это нехорошо, некрасиво, а Лукашов никогда не делает того, что нехорошо и некрасиво. Он увел не жену, а невесту. Невеста еще не оформлена в загсе, и ее может увести каждый, кто захочет, для этой цели и дается в загсе испытательный срок. Он даже не уводил, зачем возводить напраслину на человека. Он просто поговорил с ней несколько раз, и она поняла, что с Лукашовым и ей, и дочке, которая родится у нее и Лукашова, будет намного лучше, чем с Холиным. И она ушла. Лукашов даже сам позвонил утром по телефону и рассказал все. Рассказал честно, без утайки. Так и так, мол, твоя невеста встречается со мной, но это не баловство, это очень серьезное дело, и он, Лукашов, собирается на ней, теперь уже бывшей невесте Холина, жениться.

Нет, Лукашова ни в чем нельзя упрекнуть. Это честный, порядочный человек. Он бы, Холин, смог прийти при такой ситуации провожать Лукашова? Вряд ли... А он, Лукашов, пришел. Нет, все-таки ко всему это и мужественный человек. А он, Холин, обозвал его, Лукашова, вороном. Прости, Лукашов.

* * *

Толпа маялась, постукивая заколевшими ботинками в такт мелодии, несущейся из ресторанной форточки, и напоминала американский балет на льду или группу гангстеров, встречающих почтовый вагон, потому что все были одеты одинаково странно: в зеленые куртки на чрезмерном количестве «молний» и пуговиц, гнутые шляпы и длинные мотоциклетные перчатки. Горпромторг не успел подготовиться к осенне-зимней кампании и только к концу февраля смог пригнать в город откуда-то огромную партию зеленых курток, гнутых шляп и мотоциклетных перчаток. Он завез еще столько же огромных болотных сапог почти до пояса, но они не пользовались успехом у населения.

День был теплый, все думали, что окажется теплым и вечер, и поэтому явились провожать Холина в гангстерской одежде, а Лукашов даже одел болотные сапоги. Не хватало, правда, для полноты впечатлений огромных колытов, но в жизни всегда чего-нибудь не хватает.

Впереди маялся и постукивал ботинками начальник отдела кадров Вано Геноцвали, милый человек, но опаснейший интриган. Вообще-то он был Иваном Горшковым, родом из Болдыревки, но природа так щедро снабдила его грузинскими характерными чертами, что Иван не устоял и прозвал себя Вано Геноцвали, а заодно выучился говорить с грузинским акцентом. Провожать Николая Егоровича он пришел, по всей видимости, не просто так; конечно, Иван пришел провожать прежде всего потому, что, несмотря на свои интриги, был добрым человеком, но все же, явившись провожать Холина из чувства солидарности и сострадания, он имел попутно какую-то тайную цель. Скорее всего, Вано Геноцвали явился вслед за интригой, какую он плел, и интрига его, Ивана-Вано, привела сюда, на симферопольский поезд. А возможно, Горшков уже сочинил интригу по пути сюда. Да, так, наверно, будет вернее – он сочинил интригу, идя провожать Холина.

Холин любил Горшкова, несмотря на то что однажды тот сплел интригу и против него, Холина, и сплел довольно больно, ощутимо. Но он все же любил Горшкова, может быть, потому, что тот плел интриги не по злобе, а так, ради детского любопытства, ради чисто детского любопытства посмотреть, что там у игрушки внутри.

При этом он никогда не трогал слабых. Он плел интриги только против сильных, уверенных, здоровых, преуспевающих, знающих себе цену людей, даже немного нагловатых людей, что вполне естественно, так как успех и уверенность в себе приводят к нагловатости даже у хороших людей.

Горшков никогда не плел интриги против плохих людей. Он не плел против них, даже если они были сильными, уверенными и нагловатыми. Это было странно, но это было так. Не трогал он и слабых, кто бы они ни были: хорошими или плохими.

Уже потом, после того как с ним это случилось, Холин понял, почему Горшков так поступал. После того как это случилось, у Холина было много времени для раздумий, впервые много времени за всю жизнь, и он тогда понял, почему Горшков так поступал и почему он, Холин, его любил. Горшков-Геноцвали не плел интриги против плохих людей потому, что брезговал. Он брезговал той дрянью, которая неизменно выльется из их груди, если он пробьет в ней лётку. А у сильных, хороших людей ничего не выльется, просто станет видно, что там